

ПРОЛОГ

Среди лесов дремучих Архангельской области есть чащоба, которую местные за три версты обходят, избегая даже смотреть на застывшее войско вековых деревьев, обнявших друг друга артритными лапами и словно охраняющих темный секрет. И приезжих местные сразу же предупреждают: лес прячет во чреве своем болото гиблое, на многие километры растянувшееся. О топи той и в летописях древних упоминается — сколько жизней она унесла, сколько костей человеческих ее бездонная тягучая жижа прячет.

Коварно лесное болото — кажется, что на кочку земляную ступаешь, а она вдруг из-под ног уходит, и тянет, тянет вниз голодная зыбучая земля. Черная вода подгнивающей ряской зашторена, и ядовито ее дыхание — кто испарений того болота вдохнет, тому другой мир открывается в обморочных видениях. Поэтому приезжих предостерегают — даже к кромке чащи той подходить не стоит. Бывало и такое, что ветер швырнет в лицо зазевав-

шегоя путника пригоршню воздуха болотного, затхлого, грибницей и перегноем пахнущего, и тот вдруг уходит в чашу, словно что-то или кто-то манит его из глубин леса, зовет к себе.

Разные слухи о том жутком болоте ходят, но из уст в уста веками передается только один: если бросить в чавкающую грязь младенца, которому еще не исполнилось трех лет, то поглотит его голодная зыбучая земля, но в течение трех дней он может возвратиться, только вот человеком больше не будет, а станет полубогом. В былые времена матери сами отводили туда своих детей, и говорят, некоторые ребяташки даже возвращались обратно.

* * *

Были времена — много колдовок жило по забытым богом деревушкам. И молодые среди них встречались, и старухи ветхие. Старые ведьмы брали в обучение юных девушек — не всех, а в ком слабый пульс Силы чуяли. Впрочем, в ученицы к карге никто не рвался — судьба у них была трудная, всю жизнь в одиночестве куковали, а жили долго, до времени, пока на их спине горб не вырастал, а в дыхании появлялся едва уловимый запах плесени, пока ноги не начинали отниматься.

Считалось, что колдовка не может на тот свет отправиться, пока Силу свою кому-нибудь не передаст. Если у кого была ученица, дар переходил

к ней, и вместе с ним — вся нажитая маета и чернота. Остальным же приходилось идти на хитрости. Поэтому чем старше ведьма становилась, тем меньше людей было вокруг нее — все старались обходить ее дом стороной, боялись, что она разжалобит, подманит и ремесло черное вместе с прилегающей к нему незавидной своею судьбою передаст. «Дай мне, доченька, водицы напиться!» — слабым голосом просит старушка, такая крошечная, иссохшая, несчастная. Сердобольная девушка несется к ней с ковшиком, но старухе на воду плевать, хоть она не пила и не ела три дня, другая напасть ее гложет. Девку за руку схватит, да так крепко держит, что не вырвешься. В глаза посмотрит, и у девушки сначала голова кружится, и колени ватными становятся, но потом, уже выйдя из ведьминога дома, она чувствует странный прилив сил. Позже она поймет, что натворила, но никто ей не сможет помочь, и теперь ей только и останется, что ремеслу колдовскому учиться, чтобы Силу под контролем держать.

Поэтому матери настрого наказывали дочерям: если позовет тебя какая старуха, ни за что к ней не подходи. Беги быстрее, словно ты ничего и не слышала. А совесть будет мучить — так ты ее души и топи. Потому что у ведьмы, которая тебя обмануть пыталась, вовсе нет совести.

Рассказывали даже об одной девице, которой родители запретили подходить к собственной бабушке, когда та стала стара и слаба. Бабушка ее

воспитывала, растила, ближе матери родной была. Девочка, конечно, понимала, чем старуха занимается — то в поле пойдет росу утреннюю собирать, то серпом медным полынью косит, то по кладбищу часами шляется, хотя нет там ни одной родной ей могилы. Но бабушка ее от Силы берегла, никогда в дела свои не вмешивала, и даже на вопросы любопытные не отвечала.

И вот пришло время ей помирать — ноги носить перестали, а тело — пищу принимать. Родная дочь той старухи знала, что при смерти ведьма должна ремесло кому-то вручить — поэтому и заперла свою мать в дальней комнате, и еду ей подавала через окно, так что старуха при желании дотянуться до нее не могла.

Плохо было бабушке, тяжело она уходила. Сначала все плакала — скулит так, что сердце на части рвется. Внучку звала: «На кого же ты меня оставила... Мне пить хочется, мне тепла родного хочется. Разве бы я тебе голодной позволила лежать?.. А ты меня бросила...» Потом разум ее помутился — металась по кровати, подушку изгрызла, утробным голосом кукарекала и мяукала, как будто бы душа ее уже пребывала в аду, но тело все еще цеплялось за землю.

Внучка и сама исхудала от тоски за те дни, но мать пристально следила, чтобы та к бабке не пошла. Так и померла старая колдовка от жажды и голода. Но говорят, из могилы ее еще долго по ночам доносился неприятный скрип, как будто бы кто-то ногтями доски царапает.

Страшно многие такие старухи уходили — неделями лежали в одиночестве, ни воды никто не подаст, ни постель не поменяет, а дух все в теле, уже больше похожем на скелет, держится.

К нашему времени все они повымерли почти. Современные колдовки не чета тем, кто давно в гробах спит. Сила — она внимания требует, а сейчас в доме каждой деревенской старухи телевизор имеется, а у кого-то — даже Интернет. Внимание утекает во внешний мир, Сила развеивается.

Разными бывают колдовки. Кто-то занимается только травами. Знает, в какой день и в какой час следует их срезать, чтобы получались из них зелья сильные. Таких старух сторонятся меньше, потому что, как правило, они всю деревню лечат — и с зубами больными к ним идут, и с костями поломанными. Ходили слухи об одной травнице, которая заговаривать уродство умела. К ней съезжались невзрачные девицы со всех окрестных областей. Старуха их три дня травами оморачивала, свечи над их головой самодельные жгла, бормотала что-то, и выходили они из ее дома красавицами. То есть, внешность, вроде бы, оставалась той же самой, но что-то такое появлялось — в голосе, взгляде, манере поворачивать голову — что мужчины начинали с ума от них сходить.

Были колдовки кладбищенские — самые сильные, но и самые несчастные. Смерть у таких обычно страшная была. Ну да почти все они с самого начала знали, на что идут. С мертвой силой шутки

плохи, пока ты телом и духом крепка — держишь ее, как поводья норовистой лошади, а потом дряхлеешь, и она тебя сжирает, крутит тобою, пока в пепел не обратит. У каждой такой ведьмы «свое» кладбище было, и «свои» могилки рабочие. С мертвецами они как с живыми общались — и подарки им на день рождения и день смерти на могилу принесут, и поговорят ласково, и сорняки выдернут из земли могильной.

Один сторож кладбищенский рассказывал: мол, какая женщина хорошая к погосту прибилась — видно, больно ей смотреть на забытые чужие могилы. Придет, уберется, оградку выкрасит, водочку поставит. А однажды он проснулся среди ночи и показалось ему, кто-то между могил гуляет. Подошел тихонечко и увидел: та женщина, в длинном черном платье и вуали черной, воткнула в могильный холмик две свечи черные, две фотографии. Там же и кольца обручальные лежат, и голубка белая в клетке мается.

Женщина молитву венчальную вполголоса нараспев прочла, потом голубку из клетки вынула, но вместо того, чтобы в небо ее отпустить, как на свадьбах часто делают, голову ей одним ударом ножа отхватила. И полилась на могилу птичья кровь. Сторож смотрел на это из-за деревьев и крестился, ни жив ни мертв от страха. А женщина его не заметила — свечи, фотографии и мертвого голубя аккуратно в пакетик собрала и пошла прочь.

Были и те колдовки, которые с чертями работали. Черта разными способами позвать можно. И картами игральными — особенно теми, которыми убийцы время коротали, поэтому многие старухи готовы были дорого у арестантов колоды выкупить. Можно в ночь к церкви прийти, семь раз против часовой стрелки обойти, слова запретные пришептывая. Иные на печенье, на крови своей замешанное, черта прикармливают.

Говорят, чтобы Силу получить, нужно выбрать такую ночь, чтобы полнолуние совпало с понедельником, пойти на лесной перекресток и написать самому хозяину преисподней послание — вручаю, мол, тебе тело мое и душу в обмен на Силу колдовскую. Листок этот следует кровью из безымянного пальца правой руки запечатать, а потом сжечь, причем с собою у будущей невесты дьявольской должна быть только единственная спичка — если затушит ее ветер, и не займется пламя, значит, не принял девушку темный жених.

* * *

Старая женщина ступала осторожно как канатоходец, каждый шаг мог стать ее смертью, потому сначала она нащупывала ногой очередную кочку, осторожно вдавливая в нее носок резинового сапога и только потом переносила на ногу вес. Она шла медленно, и она была одна, а вокруг — только лес, пастельно-зеленый, нежный, осторожный,

каким он бывает в начале мая. В руках ее была корзинка, прикрытая мятой тряпкой, и если бы кто-то встретил старуху, удивился бы, потому что в начале мая в лесу нечего собирать. Разве что крапиву на суп, да ее и в поле полно, зачем ради этого углубляться в чашу, которая прячет в своем сердце вязкие топи.

Она углублялась в лес, и земля становилась все более мягкой и как будто бы оживала. Земля была похожа на чудовище, которому даже не требуется выслеживать и ловить жертву, потому что силы неравны. Она почти подошла к краю Болота, почва здесь была склизкой и шаткой, каждый шаг старухи она встречала утробным причмокиванием, внутри нее что-то бурлило и слатывало. Как будто бы под этой пахнувшей перегнившими водорослями жижей сидело бесформенное чудовище с алчущим мягким ртом.

Женщине было не по себе. Ей всегда было не по себе, когда она приближалась к Болоту.

И вот когда ее сапоги увязли в черной жиже почти по самое голенище, она остановилась. Дальше идти нельзя. Дальше идти — это смерть.

Она нагнулась, вытянула руку и поставила корзинку на влажную землю, которая будто бы открыла неожиданному дару объятия. И начала заглатывать его, медленно, как удав проталкивает в глотку пойманную жертву. Когда корзинка почти была поглощена коричневой жижей, старуха откинула тряпки и в последний раз взглянула на то, что в

корзине находилось. Взглянула с интересом и как будто бы прикидывая — получится или нет?

А в корзинке был младенец.

Младенцу исполнилось несколько часов от роду, у него было красноватое сморщенное личико, и он еще пока больше принадлежал миру теней, чем миру людей. Он еще никогда не видел обращенной к нему улыбки, над ним никогда не склонялось чье-то лицо, у него даже имени еще не было. Зачем давать имя тому, кого сразу же унесут, накрытого тряпками, в лес?

Корзинка погружалась в топь все быстрее, она накренилась, и через край потекла бурая грязь, пачкая светлое одеяльце.

Ребенок даже не проснулся.

ГЛАВА 1

Жили-были Гензель и Грета.

Оба уже не были детьми, но какая разница. Главное, что они были костью в горле родителям, еще слишком молодым, чтобы нести этот крест.

Гензель в свои неполные двенадцать был как Маугли, но только если бы фильм о Маугли снял Тим Бертон. Ему всего несколько месяцев было, когда врачи развели руками: мол, будет дурачком, и ничего нельзя изменить. Они, конечно, выразились не так, они сказали: «он другой», но Грета, которой тогда было уже пять лет, сразу поняла, что они имеют в виду. Правда, когда она уточнила у матери: «А наш Сашенька что, правда дурачок и таким навсегда останется?», та отвесила ей неожиданную затрепину. И Грета убежала рыдать под письменный стол отца, это было ее место силы. Потому что мать надеялась, что Гензель поправится. Водила к нему и врачей, и педагогов, и даже однажды какую-то мрачную старуху в шали, воняющей козлом, которая размахивала над головой

несчастливого церковной свечой и угомонилась, только когда тот, точным собачьим движением вывернув шею, укусил ее за руку, до крови.

— Это бесы, — зло сказала старуха, зажимая рану шалью и отказавшись от перекиси водорода. — В вашем сыне бесы сидят, и если их не выгнать, они его изнутри сожрут.

Мать, естественно, выгнала не бесов, а старуху.

Водянистые глаза Гензеля были как будто бы пленкой подернуты. У мертвых птиц такие глаза. Как будто бы он все время смотрел только внутрь себя. Он никогда не разговаривал и никогда не смотрел никому в глаза. К нему нельзя было подходить близко. Еду мать оставляла на пороге его комнаты, которую он никогда не покидал. Иногда он разрешал отвести его в ванную и поставить под струю воды. Он мог так стоять четыре или пять часов, за это время мать отмывала и проветривала его комнату, меняла постельное белье.

Гензель был страшным. Все делали вид, что его любят. «Сашу надо принимать таким, как он есть», — говорила, вымученно улыбаясь, мать. Но любить его, и тем более принимать, было очень сложно. Ни у одного из них не хватало на это души.

Он часами сидел на корточках, повернувшись лицом в угол, и раскачивался из стороны в сторону. А иногда начинал издавать странные звуки — как будто бы грудной младенец, пробующий мир на вкус и удивляющийся собственному голосу. Он